

## О задачахъ современной философіи,

въ связи съ вопросомъ о возможности и направленіи философіи самобытно-русской.

(Pia desideria).

### I.

Всматриваясь въ исторію философіи, мы ясно различаемъ въ ней эпохи, когда философская мысль какъ бы забывала свои задачи. Такихъ эпохъ было нѣсколько: эпоха софистовъ, время разложенія академико-перипатетической философіи, почти всѣ средніе вѣка, конецъ 18-го столѣтія (до распространенія Критики Канта) преимущественно во Франціи, и, наконецъ, время переживаемое или, лучше сказать, только что пережитое нами. Нельзя сказать, чтобы въ эти эпохи мысль была совершенно недѣятельна. Нѣтъ, она работаетъ, работаетъ напряженно, торопливо, лихорадочно, какъ бы стремясь возмѣстить даромъ потраченное время; но она работаетъ въ такихъ сферахъ, которыя имѣютъ лишь отдаленное и косвенное отношеніе къ философіи. Такъ, мы видимъ, что софисты разрабатывали риторiku и грамматiku; мыслители послѣ-аристотелевскаго времени—прикладную мораль и позднѣе вопросы характера теософическаго и теургическаго; въ средніе вѣка философы заняты созиданіемъ энциклопедическихъ системъ богословія; мысль конца прошлаго столѣтія поглощена политико-соціальными и экономическими вопросами; въ наше время разрабатываются преимущественно науки положительныя. Такимъ образомъ, вопросы собствен-

но философскіе, философскіе по преимуществу, т.-е. вопросы метафизики, отступаютъ на второй планъ, именно какъ бы забываются.

Чѣмъ обусловлено это явленіе? Отъ чего зависитъ это періодически повторяющееся забвеніе человѣческой мыслью своихъ глубочайшихъ задачъ? Ужели же въ самомъ дѣлѣ вопросы риторики или грамматики, напримѣръ, интереснѣе вопросовъ о возможности знанія, о происхожденіи и назначеніи міра? Или, можетъ-быть, наиболѣе глубокіе философскіе вопросы, каковы, напримѣръ, вопросы о причинности, о пространствѣ и времени, о матеріи и духѣ труднѣе и „бесплоднѣе“ вопросовъ какой-нибудь соціальной статистики, рациональной механики или хотя бы даже астрономіи? Едва ли можно утверждать это. Но въ такомъ случаѣ спрашивается снова: почему человѣческая мысль въ инныя эпохи мѣняетъ одни вопросы, — вопросы самые важные и интересныя, — на другіе, менѣе важные и менѣе интересныя, хотя едва ли менѣе трудныя?

Бываютъ въ жизни человѣчества, какъ и въ жизни отдѣльныхъ людей, загадочныя настроенія, — состоянія какого-то непостижимаго ослѣпленія! Точно что застилаетъ человѣку глаза и, будучи не въ силахъ смотрѣть въ даль, онъ по необходимости суживаетъ свои перспективы и останавливается мыслью лишь на предметахъ близкихъ, вопросахъ полезныхъ, рѣшеніяхъ документальныхъ и осязательныхъ. Все остальное онъ оставляетъ внѣ сферы своей мысли. Пользуясь въ своихъ изслѣдованіяхъ силою мышленія съ его общечеловѣческими законами, предполагая въ природѣ и міровой жизни закономерность, какъ необходимое условіе всѣхъ своихъ изысканій, мыслители этихъ скептическихъ эпохъ, однако, вовсе не задаются вопросомъ о тѣхъ принципахъ и основаніяхъ, на которыхъ покоится и человѣческое мышленіе и законосообразный строй природы. Пользуясь жизнью, они не задаются вопросомъ объ источникѣ и природѣ жизни, подобно тому прирѣчному садовнику, который, утилизируя для своихъ обыденныхъ потребно-

стей воду протекающей мимо него рѣчки, вовсе не спрашиваетъ себя о томъ, что питаетъ самую рѣчку и откуда она беретъ свое начало.

Изучая причины только-что охарактеризованныхъ, скептическихъ въ отношеніи къ философіи, настроеній, мы всегда находимъ ихъ въ условіяхъ жизни данной эпохи. И именно можно различать двѣ главныя группы такихъ условій, изъ которыхъ одна коренится въ *практическихъ* мотивахъ мысли, другая — въ мотивахъ *теоретическихъ*.

Сначала о первыхъ. Связь отдѣльнаго человѣка съ окружающей его средою гораздо тѣснѣе, чѣмъ это обыкновенно принято думать. Было бы конечно ошибкою сказать, что человѣкъ есть рабъ среды; но, съ другой стороны, далеко не всякаго можно назвать и ея господиномъ. Вполнѣ порываютъ со средою, возвышаются надъ нею до способности преобразовывать ее только исключительныя личности, — гении инициативы; большинство же невольно и какъ бы бессознательно становится подъ ея вліяніе. И философъ въ данномъ отношеніи, къ сожалѣнію, далеко не всегда представляетъ исключеніе. И онъ есть сынъ своей среды и вѣрка. Философская мысль въ основѣ своей движется и направляется практическимъ идеаломъ (припомнимъ изреченіе Фихте: „каждый выбираетъ себѣ свою философію сообразно со своимъ характеромъ“), возбуждается запросами жизни и времени и осуществляется не иначе, какъ путемъ субъективнаго истолкованія вселенной, — путемъ перенесенія на міръ свойствъ нашего собственнаго существа, — нашего субъективнаго самочувствія или самоощущенія, на которомъ, конечно, всегда и неизбежно въ той или иной мѣрѣ отражается вліяніе среды и наличнаго строя жизни. Съ другой стороны, *чистая* мысль можетъ развиваться свободно лишь тогда, когда она не связана какими-нибудь ближайшими практическими заботами и запросами, когда мыслитель не смущенъ и не озабоченъ движеніями своей эпохи, когда его вниманіе не отвлечено въ область спеціальныхъ и техническихъ вопросовъ и прикладныхъ знаній, — въ область

такъ называемой матеріальной культуры. Когда же, напротивъ, обнаружился разрывъ сознанія съ практическимъ настроеніемъ эпохи, — мысль невольно обращается въ сторону оказавшагося разстройства и, какъ пластическая сила организма, стремится возстановить нарушенное равновѣсіе и заполнить образовавшуюся пустоту. Такимъ образомъ, вопросы чистой мысли, т.-е. собственно философскіе или метафизическіе вопросы, въ такія эпохи отступаютъ на второй планъ и уступаютъ мѣсто вопросамъ прикладной философіи (философіи религіи, общества, специальныхъ наукъ и т. д.), техническимъ и практическимъ знаніямъ.

Исторія философіи обнаруживаетъ предъ нами это, — можно сказать, — законъ съ несомнѣнною очевидностью. Философія зарождается на окраинахъ Греціи, въ іонійскихъ и италійскихъ (великогреческихъ: Элея и др.) колоніяхъ, — тамъ, гдѣ, благодаря прочно установившемуся политическому строю (монархія, аристократія) и болѣе быстрому, сравнительно съ метрополіей, культурному развитію, мысль раньше почувствовала себя свободною для занятій чисто-теоретическими вопросами. Только къ концу періода, когда быстрая смѣна аристократіи олигархіей и потомъ демократіей внесла въ общественную жизнь разстройство; когда, вслѣдствіе этого, пробудилась и выступила на историческую сцену игра страстей и эгоизмовъ и вниманіе каждаго было занято заботами прежде всего о своей собственной безопасности и собственныхъ выгодахъ, — тогда и философская мысль отъ вопросовъ объ основномъ и общемъ обратилась къ имѣвшимъ непосредственное практическое значеніе искусствамъ: риторикѣ, эристикѣ, грамматикѣ. Ту же самую смѣну въ постановкѣ задачъ мысли подъ влияніемъ измѣненія жизненно-практическихъ условій мы наблюдаемъ и въ послѣдующій періодъ философіи. Платонъ, находившій для себя, при своихъ философскихъ занятіяхъ, точку опоры въ поэтическомъ предчувствіи идеальнаго гармоническаго соціального строя, а еще полнѣе Аристотель, увидавшій въ создаваемой Александромъ Македонскимъ универсальной

монархіи осуществленіе того гармоническаго строя, предчувствіемъ котораго жилъ Платонъ, — эти два міровыхъ генія создаютъ универсальныя системы, влияніе которыхъ можно прослѣдить еще и въ современной мысли. Но когда затѣмъ, при измѣнившихся политическихъ условіяхъ, — въ періодъ разложенія Македонской монархіи, — въ жизнь грека стали вступать съ отдаленнаго Востока новые и безпкойные элементы, мысль снова и еще сильнѣе, чѣмъ во времена софистовъ, была отвлечена въ практическую область, и въ замкнутую сферу догматической академико-педагогической философіи вторглось рѣзкое и опустошительное вѣяніе скептицизма: изъ всей совокупности философскихъ вопросовъ только прикладная этика и позднѣе теософія считаются теперь достойными вниманія: первая — какъ путь къ достиженію личнаго благополучія, вторая — какъ противовѣсъ нарождавшейся новой религіи. Это чередованіе догматизма со скептицизмомъ, въ связи и зависимости отъ живыхъ практическихъ настроеній эпохи, можно было бы прослѣдить и во всей дальнѣйшей исторіи философіи; но и сказаннаго достаточно, чтобы убѣдиться, что періодическое забвеніе философіею своихъ главныхъ задачъ, по крайней мѣрѣ отчасти, обусловлено мотивами практическими.

Другая группа причинъ, обусловливающихъ забвеніе философіею своихъ существенныхъ задачъ, какъ было сказано, — характера *теоретическаго*. Когда мысль свободна и не связана практическими заботами, она приступаетъ къ философскимъ проблемамъ храбро и рѣшительно, ставитъ повышенныя задачи и, не узнавъ еще на опытѣ чрезвычайной трудности рѣшенія этихъ задачъ, набрасываетъ смѣлыя гипотезы и воздвигаетъ обширныя построенія. При такомъ условіи естественно, конечно, оказываются въ построеніяхъ недосмотры, необоснованность, темнота, неопредѣленность. Вслѣдствіе этого первыя догматическія философскія системы способны, пожалуй, иногда изумить своею широтою и грандіозностью; но онѣ очень рѣдко убѣждаютъ. Онѣ дѣйствуютъ на челоука какъ вино: вино сначала развесе-

лить, потомъ отуманить и, наконецъ, обезсилить; такъ и сложные, но невыработанные и недостаточно обоснованные философскія системы: сначала онѣ радуютъ душу открытіемъ высшихъ истинъ, рѣшеніемъ „последнихъ“ вопросовъ; потомъ наполняютъ ее колебаніемъ и сомнѣніями и, наконецъ, оставляютъ въ жертву скептицизму. Таковъ характеръ и такова судьба всѣхъ „универсальныхъ“ догматическихъ построений, — отъ системъ пифагорейцевъ и элеатовъ до системы Гегеля включительно. Вотъ почему блестящіе періоды развитія догматической философіи обыкновенно смѣняются періодами равнодушія къ ней и даже скептицизма. Намѣстѣ разрушенныхъ храмовъ истины, которые своими капителями, казалось, касаются самыхъ крайнихъ предѣловъ мысли и достигаютъ чистой лазури самой истины, мы видимъ теперь множество мелкихъ капищъ, въ которыхъ каждый мыслитель чтитъ свое условное божество, причемъ нѣкоторыя изъ этихъ капищъ остаются и совершенно безъ поклонниковъ...

Перейдемъ теперь отъ этихъ общихъ соображеній къ выясненію условій развитія философіи въ последнюю эпоху, которую можно считать приблизительно съ 48-го года, т.-е. съ года составленія Ренаномъ его извѣстной полускептической книги: *L'Avenir de la science*, и попытаемся формулировать задачи философіи въ виду современнаго настроенія умовъ, особенно въ западной Европѣ. Мы отнесли выше этотъ періодъ философіи къ числу эпохъ скептическихъ, когда философія „какъ бы забываетъ свои задачи“, и кажется, что мы имѣемъ для этого достаточныя основанія. Самымъ вѣскимъ доказательствомъ такого права служить замѣчаемое въ современной философской литературѣ противоборство различныхъ философскихъ началъ, постепенное ограниченіе сферы философіи, постоянные пограничные споры ея съ сосѣдними областями мысли, крайняя шаткость опредѣленія самаго понятія философіи и чрезвычайная несогласованность не только въ рѣшеніи, но даже и въ постановкѣ ея задачъ. Такое по-истинѣ хаотическое состояніе современной фило-

софской мысли обусловлено рѣдкимъ соединеніемъ въ теченіе всего этого періода обихъ вышеочерченныхъ группъ мотивовъ, обыкновенно обуславливающихъ смѣну догматизма скептицизмомъ.

Прежде всего, мы ясно видимъ, что во всю эту эпоху мысль постоянно отвлекается въ область вопросовъ практическихъ. Религіозные споры, социальное-политическія движенія и перевороты, техническія и экономическія улучшения, вотъ что ее теперь главнымъ образомъ занимаетъ. Реформаціонное движеніе, начатое еще въ 15-мъ вѣкѣ, какъ извѣстно, не улеглось и въ наши дни. Такъ называемая культурная борьба вынудила папство сдѣлать рѣшительный шагъ — провозгласить папскую непогрѣшимость. Это было съ его стороны, конечно, совершенно послѣдовательно; но за то этотъ шагъ сильно скомпрометировалъ его и произвелъ нескончаемые религіозные споры и раздѣленія, надолго занявшія мысль эпохи. Въ результатъ этихъ споровъ мы видимъ совершенное равнодушіе не только къ католичеству, но и ко всякой религіи, съ одной стороны, и погруженіе въ нездоровую религіозную мистику и теософію — съ другой. То и другое было, очевидно, одинаково неблагоприятно для развитія философіи: одно слишкомъ суживало ея кругозоръ, другое слишкомъ его расширяло и дѣлало неопредѣленнымъ. Еще болѣе отклонили философскую мысль въ сторону явленія социальное-политическія. Революціонныя движенія, задушенныя въ концѣ прошлаго столѣтія и на время какъ бы оставившія Европу въ покоѣ, къ концу первой половины нашего вѣка ожили снова. 48-й годъ, когда революціонное движеніе, какъ эхо, отозвалось почти во всѣхъ столицахъ Европы, — этотъ памятный для нея годъ — сдѣлалъ изъ вопросовъ социальное-экономическихъ и политическихъ главный интересъ времени, что повлекло за собою естественное охлажденіе умовъ къ чисто-философскимъ, или метафизическимъ вопросамъ, и не случайность, конечно, что вышеупомянутое полускептическое сочиненіе Ренана падаетъ именно на этотъ годъ. Далѣе, стремленіе Германіи

къ объединенію, колониальная политика Англии и отчасти Франціи, общее осложненіе международных отношеній, — все это въ совокупности еще болѣе содѣйствовало отвлеченію мысли къ социально-политическимъ вопросамъ. Наконецъ, этотъ процессъ отпаденія чистой мысли къ обыденнымъ практическимъ заботамъ довершается необычайно быстрымъ развитіемъ въ послѣднюю половину нашего столѣтія точныхъ, техническихъ и прикладныхъ знаній. Они создали дешевой, доступный и для массы комфортъ, къ которому, конечно, потянулись всѣ. Мысль огрубѣла и материализовалась; идеальные запросы и потребности понизились до *minimum'a*, развились либертинажъ и эпикурейство, которое, какъ извѣстно, всегда плохо уживается съ чисто-теоретическими интересами. Съ другой стороны, при чрезвычайномъ развитіи потребностей, даже въ лучшемъ случаѣ, т.-е. при возможности удовлетворять ихъ, развиваются настроенія весьма печальныя: чувство скуки, пресыщеніе жизнью и меланхолия. Вотъ почему современная философская и художественная литература окрашена рѣзкимъ пессимистическимъ и элегическимъ колоритомъ. Культурный человѣкъ нашихъ дней самъ себя создалъ зло, которое и гнететъ его, — давить, сковываетъ мысль: ему не до метафизики. Исторически нажитой пессимизмъ или, какъ точнѣе называютъ это печальное явленіе нашихъ дней, „мализмъ“, „мизерабилизмъ“, — эти характерныя для нашего времени настроенія изгнали или изуродовали метафизику\*).

Таково практическое настроеніе умовъ нашей эпохи. Тѣхъ, кого не смогли отвлечь отъ философіи практическіе интересы, оттолкнули отъ нея мотивы *теоретическіе*. Въ настоящее время сдѣлалось уже общимъ мѣстомъ указаніе на связь между системою Гегеля, съ одной стороны, и Фейербаха, Фохта, Молешотта и др. материалистовъ, съ другой. Мы не станемъ останавливаться на выясненіи этой

\*) Къ характеристикѣ современныхъ настроеній въ Европѣ, см. *Paulhan: Le nouveau mysticisme* (Paris, 1891) и *Bourgenin (pasteur): La trace du pessimisme dans la société et les lettres franç. contemporaines* (Paris, 1892).

связи, — тѣмъ болѣе, что она отчасти понятна уже и изъ сказаннаго выше о смѣнѣ догматическихъ періодовъ философіи періодами скептическими. Ограничимся лишь общимъ указаніемъ дальнѣйшаго движенія мысли и перечнемъ главныхъ принциповъ, владѣющихъ современнымъ теоретическимъ сознаніемъ.

Итакъ, идеализмъ начала нашего столѣтія породилъ изъ себя, по закону контраста, материализмъ. Материализмъ очень ускоришь и безъ того неизбежное, — неизбежное, какъ мы видѣли, по мотивамъ практическимъ, — охлажденіе мысли къ высшимъ вопросамъ знанія. Будучи атакуемы и тѣснимы со всѣхъ сторонъ противниками, сознавая, съ другой стороны, невозможность выполнить и закончить на своихъ собственныхъ началахъ связную систему знанія, материалисты зорко осматриваютъ горизонтъ, какъ бы отыскивая помощь. И вотъ ожидаемая помощь является въ формѣ теории трансформизма (эволюціонизма), который собираетъ около себя выдающіяся силы эпохи, манитъ обѣщаніями разрѣшить всѣ загадки знанія, но затѣмъ мало-по-малу, по недостатку серьезности и пониманія трудностей, связанныхъ съ рѣшеніемъ основныхъ философскихъ проблемъ, у большинства вялыхъ и равнодушныхъ учениковъ и послѣдователей великаго основателя трансформизма (Дарвина) переходитъ прямо въ скептической диллетантизмъ. Дальше на томъ же скатѣ съ высотъ идеализма развиваются: позитивизмъ, феноменизмъ, агностицизмъ и другія, можно сказать, безчисленные разновидности отрицательно-скептического, въ отношеніи къ подлинно-философскимъ вопросамъ, направленія мысли, — направленія механическаго детерминизма. Всѣ эти разнообразныя и разнохарактерныя теченія, такъ сказать, подводятся къ одному знаменателю выдающимися умами нашей эпохи: *А. Ланге* и критицистами въ Германіи, и *Ренаномъ* во Франціи. Результатъ, въ отношеніи къ идеалистическимъ вѣрованіямъ чловѣчества, оказывается рѣшительно скептическимъ. Такимъ образомъ, если мотивы практическіе подготовили въ умахъ

людей нашей эпохи практическое охлаждение и равнодушие къ интересамъ чистой мысли, т.-е. произвели скептицизмъ практической, то мотивы теоретическіе породили сознательное сомнѣніе въ возможности рѣшить метафизическіе вопросы, т.-е. скептицизмъ теоретическій.

Таково въ общихъ чертахъ господствующее современное настроеніе умовъ въ западной Европѣ. Современный культурный человѣкъ, какъ видимъ, оказывается вдвойнѣ безсильнымъ,—безсильнымъ въ борьбѣ съ угнетающимъ его практическимъ зломъ и въ разрѣшеніи терзающихъ его мукъ сомнѣнія. И онъ въ большинствѣ случаевъ уже не борется: онъ извѣрнулся въ свои силы и просто, такъ сказать, отмахивается отъ смущающихъ его думъ, какъ бы уже не желая обольщать себя надеждою на побѣду. Не трудно опредѣлить теперь, какія пожеланія могутъ быть обращены къ современной философіи, въ виду только-что характеристизованнаго настроенія умовъ. Наше время, какъ видимъ, страдаетъ однимъ кореннымъ недугомъ—ослабленіемъ воли. Совѣтъ при данномъ условіи можетъ быть только одинъ: „осмѣлся пожелать!“ Сила инициативы и воли есть могущественная сила не только въ жизни, но также и въ области мысли. И именно, чтобы разсѣять царящую надъ современною мыслью мглу и выйти изъ хаоса противоборствующихъ теченій, мыслитель нашихъ дней долженъ, какъ намъ кажется, отважиться на три слѣдующихъ шага.

Во-первыхъ, онъ долженъ осмѣлиться искренно допросить себя, чего собственно онъ хочетъ,—чего „жаждетъ душа его“? Удовлетворяется ли онъ всѣми этими, очень модными теперь вопросами и заботами о политико-экономическомъ строѣ общества, объ успѣхахъ такъ-называемаго точнаго знанія, о техническихъ открытіяхъ и усовершенствованіяхъ, о комфортѣ и т. д.; или *глубже* всѣхъ этихъ заботъ и интересовъ въ немъ таятся другіе, такъ-называемые, „вѣчные“ вопросы,—стремленіе проникнуть въ ту область, которая манитъ его къ себѣ со всѣмъ обаяніемъ неразгаданной тайны? Правда, теперь это—„забытые вопросы“, которые въ

лучшемъ случаѣ принято просто замалчивать. И однако все же только эти вопросы въ состояніи поднять человѣка надъ принижающими вѣяніями и вліяніями среды, перенести его въ чистую сферу мысли и помочь сознать подлинныя задачи и направленіе желательной философіи будущаго.

Во-вторыхъ, мыслитель-философъ нашихъ дней долженъ, говоря словами нашего поэта, „смѣть свое сужденіе имѣть“,—имѣть самостоятельный критическій взглядъ на всѣ модныя вѣянія времени, на всѣ ходячія quasi-научныя положенія. Современнымъ мыслящимъ сознаниемъ, какъ сказано, владѣютъ чрезвычайно разнообразныя и притомъ противоборствующие начала. Современный образованный человѣкъ нагруженъ всевозможными знаніями,—это такъ-сказать ходячій фонографъ, или, иногда, библіотека; но эти знанія обыкновенно совсѣмъ не упорядочены, противоборствующие начала вовсе не сведены къ высшему единству. Правда, мысль послѣдняго времени, повидимому, очень озабочена примирительною задачей. Примирять и сглаживать различное—вотъ ея современный лозунгъ. Нынѣ все стараются примирить: примиряютъ религію съ философіею, философію съ наукою, философію спекулятивную съ „научною“, идеализмъ съ эмпиризмомъ, мистицизмъ съ позитивизмомъ, апіоризмъ съ апостериоризмомъ, динамизмъ съ атомизмомъ, альтруизмъ съ эгоизмомъ и т. д. безъ конца. Конечно, примиреніе, миротворство есть почтенное и похвальное дѣло, какой бы области оно ни касалось. Однако бываютъ положенія, въ которыхъ, при всей искренности и чистотѣ намѣреній, сомнительному и двусмысленному миру все же слѣдуетъ предпочитать открытую вражду. Такъ именно, по нашему мнѣнію, дѣло обстоитъ и въ современной философіи. Стремясь къ водворенію въ области мысли порядка и мира, теперь очень часто забываютъ объ одномъ и самомъ главномъ—о примиряемыхъ началахъ; забываютъ о томъ, что въ громадномъ большинствѣ случаевъ эти начала совсѣмъ неясны и вовсе неопредѣленны. Примиряютъ философію съ наукою:

но что такое современная философия и что такое современная наука? Современная философия крайне неясна и неопредѣленна, даже въ самой постановкѣ своихъ вопросовъ. А современная наука? Это, для большинства ея почитателей, просто кумирь: какъ съ кумиромъ, одѣтымъ жреческою тайною, большинство почитателей науки съ нею непосредственно и близко совсѣмъ незнакомо; какъ кумирь, ее окружаютъ таинственностью; какъ кумиру, ей воздаютъ поклоненіе; какъ кумиру, ей приносятъ часто дорогія жертвы... Это ненормально, конечно, и вотъ, именно въ виду этой роковой ненормальности необходимо вооружиться, насколько возможно, критическою осторожностью, чтобы сохранить самостоятельность отъ порабощающихъ вліяній мнимой „науки“,—особенно когда изреченія этого новаго оракула, обыкновенно повторяемые по наслышкѣ и потому передаваемые крайне неточно, идутъ въ разрѣзъ съ нашими истинными жизненно-практическими потребностями и постулатами.

Наконецъ, въ-третьихъ, мыслитель нашихъ дней долженъ въ возможно болѣе широкомъ объемѣ пользоваться творческою или, какъ теперь принято говорить, синтетическою силой своего мышленія. Мысль нашихъ дней слишкомъ робка и принижена. Она забыла, что есть въ человѣкѣ великая, богоподобная сила,—сила творчества. Безъ этого творчества, безъ творческаго построенія гипотезъ невозможны ни наука, ни тѣмъ болѣе философія. Однако, есть два рода творчества и два рода гипотезъ: есть гипотеза, такъ сказать, *механическая* и есть гипотеза *органическая*. Первая строго держится почвы фактовъ и ограничивается лишь ихъ обобщеніемъ, всегда, конечно, неполнымъ и незаконченнымъ; вторая, напротивъ, смѣлымъ интуитивнымъ прозрѣніемъ переступаетъ за предѣлы фактовъ и возвращается къ нимъ лишь для того, чтобы придать своимъ интуиціямъ и концепціямъ плоть и кровь, облечь ихъ въ общепонятную и конкретную форму. Для первой—точкой отправленія и опоры служить механическая

необходимость, строгая законосообразность, связывающая желѣзнымъ закономъ явленія близкой къ намъ, видимой дѣйствительности; для второй—точкой отправленія являются запросы и постулаты нашего идеальнаго самосознанія, нашей внутренней свободы, которую мыслитель прозираетъ внѣ себя и предполагаетъ въ основѣ міра и мірового процесса. Съ первой точки зрѣнія, міръ есть сплошной механизмъ; со второй—мірозидательный принципъ свободенъ, какъ свободна наша душа. Съ первой точки зрѣнія, человѣкъ съ своими чаяніями и запросами въ мірѣ одинокъ: среди сплошного механизма ему здѣсь холодно и неуютно; со второй—онъ чувствуетъ свою близость и сродство съ началомъ созидающимъ, которое управляетъ мировымъ процессомъ: онъ спокоенъ, дѣятеленъ и увѣренъ, ибо сквозь оболочку страданія и зла ему просвѣчиваетъ сила противоборствующаго и угашающаго это зло добра и въ самыхъ законахъ необходимости ему чувствуется могучее вѣяніе свободы. Сюда, въ эту свѣтлую область идеала и свободы, должна устремлять свой взоръ философія нашихъ дней, если она хочетъ сказать новое и свѣжее слово,—слово, которое бы шло навстрѣчу современнымъ потребностямъ и котораго, судя по всѣмъ признакамъ, именно теперь жаждетъ и ищетъ культурный человѣкъ,—ищетъ томительно-страстно, какъ желаннаго вѣстника грядущей свободы отъ невыносимаго ощущенія горечи бытія и мукъ сомнѣнія.

Такимъ образомъ, въ виду современнаго настроенія умовъ въ западной Европѣ, которое, какъ извѣстно, отражается и у насъ, передъ нами возникаютъ три главныя и общія задачи или, точнѣе, три главныя пожеланія философіи, три коренныя, обращенныя къ философу, требованія: во-первыхъ, онъ долженъ строго допросить себя относительно своихъ подлинныхъ стремленій и желаній, т.-е. войти въ тщательное самопознаніе, и лишь тогда ему уяснятся подлинныя задачи философіи и откроется путь къ установкѣ точнаго понятія о ней; во-вторыхъ, онъ долженъ, насколько возможно, заручиться критическою осторожностію въ от-

ношении къ моднымъ вѣяніямъ времени и ходячимъ quasi-научнымъ положеніямъ, и только тогда онъ избавится отъ увлеченій и односторонностей, которыми страдаетъ современная философская мысль; въ-третьихъ, наконецъ, онъ долженъ, насколько возможно, больше пользоваться творческою силой разума, творчески строить универсальныя гипотезы, міровыя концепціи, по указанію живущаго въ немъ идеала свободы, и лишь тогда онъ создастъ законченную систему, которая будетъ не чуждымъ ему построениемъ, но подлиннымъ отечествомъ его духа.

## II.

Мы заключили предыдущую главу призывомъ къ чувству и здравому смыслу противъ принижающаго влияния господствующей современной философіи механическаго детерминизма. Конечно, чувство и здравый смыслъ могутъ судить и даже осудить ложную философію, могутъ дать философской пытливости новое направленіе, могутъ пробудить потребность въ философіи новаго, лучшаго типа; но отсюда до системы, даже до сознательнаго и плодотворнаго участія въ сложномъ дѣлѣ ея построения, еще очень далеко. Царство истины не берется силой и не завоевывается храбростью: оно открывается лишь способности, постоянству, любви и искусству. И вотъ именно намъ, русскимъ, которые доселѣ представили такъ мало доказательствъ своей философской правоспособности, что не рѣдко сами у себя ее отрицаемъ,—именно намъ невольно приходится задумываться надъ своею ролью въ обще-историческомъ процессѣ развитія философіи. Итакъ, 1) возможна ли самобытная русская философія и 2) если возможна, то въ какомъ направленіи она должна развиваться?

Вопросъ о нашей философской правоспособности и о возможности самобытной русской философіи, какъ извѣстно, въ послѣднее время ставился и обсуждался часто и при-

томъ не разъ рѣшался въ отрицательномъ смыслѣ. По нашему, можетъ-быть нѣсколько странному и неожиданному, но, тѣмъ не менѣе, какъ намъ кажется, не совсѣмъ лишенному основаній, мнѣнію, именно это послѣднее обстоятельство, т.-е. что вопросъ рѣшался въ отрицательномъ смыслѣ,—именно это обстоятельство и заставляетъ уже заранѣе склонить вопросъ въ сторону рѣшенія положительнаго. Аристотель началъ теоретически защищать рабство, когда принципъ рабовладѣнія въ древнемъ цивилизованномъ мірѣ практически былъ уже распатанъ. Древнее язычество выдвинуло своихъ наиболѣе рьяныхъ и ожесточенныхъ апологетовъ, когда почувствовало уже агонію приближающейся смерти. И, вообще, какъ человѣкъ, такъ и общество начинаютъ теоретически оправдывать свои заблужденія, возводить въ принципъ и необходимость несовершенныя и ненормальныя проявленія своей жизни именно тогда, и тогда особенно, когда начинаютъ сознавать эту ихъ ложь и ненормальность, когда пробуждается живой протестъ противъ неудовлетворяющаго глубочайшихъ потребностей наличнаго строя жизни: теоретическое оправданіе ненормальностей въ такихъ случаяхъ есть не что иное, какъ стремленіе запутать софизмами и заглушить именно этотъ живой протестъ противъ нихъ со стороны чувства, здраваго смысла и совѣсти. Не должны ли мы, опираясь на только-что высказанное соображеніе, предположить, что и въ данномъ случаѣ, т.-е. когда рѣчь идетъ о возможности самобытной русской философіи, за наиболѣе рѣзко выраженными головами въ пользу отрицательнаго рѣшенія вопроса стоитъ именно это скрытое желаніе спутать софизмомъ живой протестъ противъ нашей прежней философской дремоты и бездѣятельности,—скрытое сознаніе, что національно-русская философія возможна, тайное опасеніе, какъ бы она не народилась, подозрѣніе, что она уже пробуждается къ жизни, желаніе замедлить ея ростъ и развитіе, и т. д.? Въ самомъ дѣлѣ, доселѣ мы жили, какъ жилось; когда наталкивались на серьезные вопросы, задумывались надъ ними и никогда



не спрашивали себя о томъ, можемъ ли мы мыслить, или нѣтъ,—въ томъ предположеніи, вѣроятно, что это и безъ вопроса ясно. И вдругъ этотъ тревожный вопросъ! Во всякомъ случаѣ, здѣсь есть надъ чѣмъ поразмыслить...

Тутъ возникаетъ, конечно, вопросъ о мотивахъ такого двусмысленнаго отношенія къ дѣлу. Но эти мотивы угадать не трудно. Они подсказываются исторіею почти полувѣковой литературной борьбы между такъ-называемыми западниками и славянофилами. Мы не станемъ однако задерживать вниманія читателя на этомъ щекотливомъ предметѣ,—на выясненіи практическихъ мотивовъ, которые *могутъ определять* наклонъ въ сторону отрицательнаго рѣшенія занимавшей насъ проблемы и перейдемъ къ болѣе осязательнымъ аргументамъ.

Самый главный аргументъ, который обыкновенно приводится въ доказательство нашей національной неспособности къ философіи, состоитъ, какъ извѣстно, въ указаніи на нашу прошлую философскую „бесплодность“. Въ этомъ возраженіи есть доля истины. Факта, конечно, отрицать нельзя. Мы дѣйствительно не создали ни одной системы, на которую могли бы указать, какъ на основаніе нашей равноправности съ другими культурными народами въ данномъ отношеніи. И однако, это доказательство все же далеко не такъ рѣшительно, какъ оно кажется съ перваго взгляда.

Прежде всего, фактъ нашей прошедшей философской „бесплодности“ нѣсколько преувеличенъ. Правда, мы не заявили себя въ области философіи созданіемъ какой-нибудь объемистой и грандіозной системы; но кое-что въ данномъ направленіи мы все же сдѣлали: мы проявили къ философіи большой и глубокой интересъ (не даромъ въ послѣднее время такъ часто указывали на то, что въ основѣ каждаго нашего выдающагося литературнаго явленія заложена глубокая философская идея; что каждый типичный „герой“ есть выразитель цѣлаго связнаго и объемистаго взгляда, „міросозерцанія“ и т. д.) и успѣли выполнить много работъ, такъ сказать, подготовительныхъ,—поставили вопросы, намѣтили

руководящія идеи, отбѣнили съ ихъ точки зрѣнія выработанные доселѣ типы рѣшеній этихъ вопросовъ и, такимъ образомъ, подготовили достаточно элементовъ,—такъ сказать, матеріалъ для созиданія будущей философіи. Конечно, и это немного, при разсужденіи о нашей способности къ участию въ историческомъ процессѣ развитія философіи, кое-что значить.

Далѣе, обсуждаемый нами фактъ (т. е. фактъ нашей прошлой философской бесплодности) обыкновенно не совсѣмъ правильно истолковывается. Всю отвѣтственность за него обыкновенно возлагаютъ на наши природныя психическія свойства: на нашу „умственную вялость“, на нашу „узко-практической реализмъ“, вызывающей и обуславливающей будто бы скептическое отношеніе къ высшимъ вопросамъ бытія и знанія, и т. д. Но фактъ допускаетъ и иное, такъ сказать, дополнительное объясненіе. Исторія нашей сознательной жизни началась еще сравнительно недавно. Мы едва успѣли выйти изъ состоянія исторической юности. А въ эту пору жизни какъ отдѣльный человекъ, такъ и цѣлый народъ отличается именно больше рецептивностью—воспріятіемъ и усвоеніемъ различныхъ знаній, доставляемыхъ какъ собственной опытностію и жизнью, такъ и получаемыхъ отъ другихъ. Пора синтеза, творчества, построенія собственныхъ концепцій, связныхъ теорій мірообъясненія, наступаетъ обыкновенно позднѣе. Притомъ, и послѣ нашего вступленія (совсѣмъ недавняго) въ періодъ зрѣлости, когда у насъ начало пробуждаться философское самосознаніе,—историческій строй жизни весьма не благопріятствовалъ его развитію: наше вниманіе постоянно отвлекалось въ сторону другихъ, стороннихъ философіи, заботъ и вопросовъ; вслѣдствіе нѣкоторыхъ, неблагопріятныхъ для развитія самостоятельности и вѣры въ себя, историческихъ обстоятельствъ, какъ въ другихъ отношеніяхъ, такъ и въ отношеніи къ философіи мы много жили чужимъ умомъ и заимствованіями; въ университетахъ долгое время у насъ не было самостоятельныхъ кафедръ философіи, не было специаль-

но-философскаго органа, и философія ютилась лишь тамъ, гдѣ могли и хотѣли приютить эту безродную, безприютную, а иногда и просто компрометирующую, подозрительную скиталицу. Могла ли бы, спрашивается, при такихъ условіяхъ, даже и безспорно одаренная богатыми философскими силами нація создать въ области философіи что-либо значительное?

Наконецъ, въ третьихъ, если даже взять обсуждаемый фактъ во всемъ его преувеличенномъ объемѣ, то и тогда, говоря строго, изъ него нельзя сдѣлать тотъ выводъ, какой обыкновенно дѣлается. Доселѣ русскіе не создали въ области мысли ничего значительнаго; слѣдовательно, — таковъ обычный выводъ, — они ничего и не создадутъ. Какъ такъ?! Если бы это своеобразное разсужденіе, если бы такое заключеніе отъ прошедшаго къ будущему было во всѣхъ случаяхъ справедливо, тогда въ исторіи не было бы никакого движенія. Всякій человѣкъ, всякій народъ, все, наконецъ, человечество, развиваясь, восходя на высшую ступень, непременно проявляютъ, обнаруживаютъ нѣчто *новое*, дотолѣ неизвѣстное, чего на низшихъ ступеняхъ, быть-можетъ, даже и не подозревали: развитіе именно и состоитъ въ появленіи того, чего прежде не было или что существовало лишь въ скрытомъ, потенциальномъ состояніи. Такимъ образомъ, не осужденіе будущаго во имя несовершеннаго прошедшаго, но какъ разъ обратное, — надежда на него, ожиданіе отъ будущаго бѣльшаго, сравнительно съ тѣмъ, что дало прошедшее: вотъ на что насъ уполномочиваетъ, что намъ подсказываетъ и внушаетъ справка съ исторіею и общая идея историческаго прогресса.

Что же касается въ частности появленія у насъ въ будущемъ объемистыхъ и глубокомысленныхъ *системъ* философіи, то тутъ никакой предварительный діагнозъ, конечно, невозможенъ. Развѣ можно было предсказать въ свое время появленіе Сократа, Декарта, Канта, или хотя бы у насъ, въ Россіи, — художниковъ-мыслителей: Гоголя, Достоевскаго, Толстого и др.? Философія исторіи можетъ иногда опредѣлить, почему тотъ или другой геній мысли или ре-

форматоръ жизни появился на исторической сценѣ именно въ этотъ, а не другой историческій моментъ, именно въ той, а не другой странѣ, — но всегда и не иначе, какъ въ своемъ *ретроспективномъ* истолкованіи исторіи, принимая во вниманіе и истолковывая въ примѣненіи къ объясняемому событію всѣ побочныя обстоятельства и всѣ сложныя условія историческаго процесса. Заранѣ же подобныя предсказанія совершенно невозможны. Появленіе генія, говоря строго, есть историческая тайна, которую, смотря по точкѣ зрѣнія, одни называютъ историческимъ фатумомъ или, пожалуй, историческою необходимостью, которая „создана столкновеніемъ благоприятныхъ условій“, а другіе — дѣйствіемъ Промысла. Разгадка этой тайны, даже и послѣ того, какъ она рѣшена исторіею фактически, не всегда, не со всякой точки зрѣнія и далеко не при всякомъ міросозерцаніи намъ доступна. Вотъ почему для нашего близорукаго, „эвклидовскаго“ ума, который притомъ смотритъ (какъ въ данномъ случаѣ) на исторію не *retro*, а *pro*, къ вопросу о возможности появленія у насъ въ будущемъ геніевъ философской мысли, созидателей и организаторовъ философскихъ системъ, возможно лишь одно отношеніе, — изучить, благоприятны ли для дѣятельности этихъ *возможныхъ во всякой средѣ* геніевъ наличныя условія, подготовлена ли для нихъ почва. Этотъ вопросъ очень важенъ. Вѣдь и великіе умы не творятъ изъ ничего. Молнія генія должна озарить умственную атмосферу, которою живетъ та или другая среда, та или другая эпоха, и собрать воедино тѣ элементы, которыми она насыщена. Если этихъ элементовъ достаточно, если они пригодны, тогда его историческая миссія выполнена; въ противномъ случаѣ талантъ, геній легко можетъ быть „неудачникомъ“. Какъ обстоитъ дѣло въ нашемъ случаѣ? Подготовлены-ли у насъ для созданія философской системы условія? Создана ли у насъ для возможнаго будущаго генія философской мысли почва и среда? Вотъ вопросъ, на которомъ мы должны теперь сосредоточить свое вниманіе.

Отвѣтъ на этотъ вопросъ въ общихъ чертахъ нами уже данъ. Мы сказали,—и едва ли, въ виду общеизвѣстныхъ и очевидныхъ фактовъ, кто-либо будетъ это оспаривать,—что нами, русскими, доселѣ обнаружень, по меньшей мѣрѣ, интересъ къ философіи, вниманіе къ чужимъ рѣшеніямъ основныхъ философскихъ вопросовъ, способность оцѣнивать эти рѣшенія съ своей точки зрѣнія и т. д. Теперь, въ подкрѣпленіе этого общаго соображенія, можно привести нѣсколько другихъ, болѣе частныхъ.

Опираясь на исторію философіи, мы можемъ признать, если и не въ качествѣ строгаго историческаго закона, то, по крайней мѣрѣ, въ качествѣ эмпирическаго наблюденія довольно высокой общности, два слѣдующихъ положенія: во-первыхъ, *философская производительность народа прямо пропорциональна живости и интенсивности въ немъ религіозно-нравственныхъ интересовъ*; во-вторыхъ, *расцвѣтъ философіи обыкновенно совпадаетъ съ концомъ эпохи художественнаго творчества или по крайней мѣрѣ начинается не раньше ея*, такъ какъ онъ ею обусловленъ, а художественное творчество, въ свою очередь, пробуждается не раньше пробужденія и проясненія этико-религіозныхъ идеаловъ. Такъ, по крайней мѣрѣ, было въ классическихъ странахъ философіи: древней Греціи и новой Германіи. Теперь спрашивается: заявили ли русскіе свою духовную правоспособность, по крайней мѣрѣ, съ этой стороны, т. е. со стороны своего стремленія въ область идеального, которымъ обусловлено художественное творчество? Едва ли кто не согласится съ тѣмъ, что на вопросъ, поставленный въ такой формѣ, есть достаточныя основанія отвѣтить утвердительно. Нѣтъ надобности выяснять эти основанія: достаточно оглянуться на наше недавнее прошлое, чтобы ихъ признать. Итакъ, не вступая, для выясненія этихъ основаній, въ область нашей прошлой исторіи,—такъ какъ это и излишне, и завело бы насъ слишкомъ далеко,—ограничимся лишь одною маленькою справкою или, точнѣе, однимъ напомниманіемъ изъ области настоящаго.

Всѣмъ извѣстно, что между тѣмъ, какъ нѣкоторые изъ на-

шихъ соотечественниковъ во что бы то ни стало хотятъ построить наше самосознаніе на пессимистическіе мотивы и ради этой цѣли не только отрицаютъ нашу философію, но унижаютъ и наше искусство, осуждаютъ строй нашей нравственно-религіозной жизни и самый характеръ нашей культуры,—на Западѣ торжественно возвѣщаютъ, что „нашъ часъ насталь“, что настало для русскихъ время сказать міру свое слово, передать ему свою самобытную, нажитую собственнымъ историческимъ опытомъ, мудрость. И не только насталь часъ сказать это слово, но оно уже и высказывается,—высказывается именно нашими писателями-художниками,—и къ нему прислушиваются съ жаднымъ и чуткимъ вниманіемъ. „Если романы Тургенева, Достоевскаго и Толстого, —сказалъ недавно одинъ изъ выдающихся западныхъ писателей-критиковъ, отмѣчая успѣхъ нашихъ романистовъ и въ частности гр. Толстого во Франціи \*),—если эти романы нашли совершенно неожиданный приѣмъ среди читателей Золя и имъ подобныхъ; если ихъ авторы, на-ряду съ національными писателями, сдѣлались учителями и руководителями новаго поколѣнія; если ихъ книги, книги со странными заглавіями и варварскими именами, отвоевали себѣ теперь безспорное мѣсто въ нашей литературѣ,—то это означаетъ, что для русскихъ насталь ихъ часъ и что они отвѣтили глубокой потребности своихъ иноземныхъ читателей“. Нужно ли намъ болѣе ясное и болѣе энергичное свидѣтельство нашей національной духовной правоспособности, болѣе компетентное ея признаніе? Замѣтимъ при этомъ, что приведенный отзывъ не только не одинокъ, но, какъ извѣстно, сдѣлался почти всеобщимъ мнѣніемъ западныхъ, и особенно французскихъ, критиковъ нашей художественной литературы. Но если такъ, если мы пришли по крайней мѣрѣ въ одномъ, только-что указанномъ, отношеніи въ мѣру совершеннаго возраста, то мы уже можемъ съ надеждою и довѣріемъ смотрѣть и на свою философскую будущность. Повторяемъ,—

\*) Édouard Rod. Les idées morales du temps présent (Paris, 1891), p. 237.

исторія учить, что за расцвѣтомъ художественнаго творчества почти повсюду у культурныхъ народовъ начинается расцвѣтъ философіи: ужели только мы будемъ представлять въ данномъ отношеніи печальное и непонятное исключеніе?

Но тутъ мы встрѣчаемся съ возраженіемъ, которое, по-видимому, способно разрушить всѣ наши предыдущія размышленія, историческія справки и аналогіи. Художественное творчество и философія, — говорятъ, — совсѣмъ не одно и то же, такъ что способность къ художественному творчеству сама по себѣ еще нисколько не ручается за способность къ философіи. И дѣйствительно, изучая особенности національно-русскаго умственнаго склада, мы будто бы должны придти къ убѣжденію, что русская голова „совсѣмъ не философскаго склада“, что русскій умъ, русское мышленіе вовсе не философское. Но, во-первыхъ, критерій, которымъ въ данномъ случаѣ опредѣляется, каковъ именно долженъ быть „философскій складъ“ мышленія, очень условенъ. „Собственная стихія философіи, — говорить, напримѣръ, одинъ изъ наиболѣе выдающихся и рѣшительныхъ противниковъ философской правоспособности русскіихъ, — есть безусловно-независимая и въ себѣ увѣренная дѣятельность ума“, такъ какъ-де „для великихъ и долговѣчныхъ созданій въ области философіи нужно вѣрить въ самозаконную и неограниченную силу человѣческаго ума, въ безусловное превосходство чистаго мышленія предъ всѣми прочими видами дѣятельности“\*). Но, — замѣтимъ мы — вѣдь извѣстно, что нѣкоторыя истинно-великія и бессмертныя созданія философскаго духа связаны съ именами мыслителей, которые вовсе не были рационалистами и провозглашали въ области знанія примать нравственно-практическихъ постулатовъ (напр. Кантъ, отчасти Сократъ, Дунсъ Скотъ, и др.). Во-вторыхъ, всякія характеристики, какъ индивидуальнаго, такъ и коллективно-національнаго мышленія, какъ извѣстно, всегда слишкомъ эластичны, неуловимы, разнорѣ-

\*) *Вл. Соловьевъ*: Национальный вопросъ въ Россіи, вып. I, стр. 134.

чивы, — вообще субъективны. Такою разнорѣчивостью и субъективизмомъ страдаютъ и характеристики національно-русскаго мышленія. Такъ, по мнѣнію однихъ, оно отличается крайнимъ скептицизмомъ и мистицизмомъ (Вл. С. Соловьевъ); другіе, напротивъ, отмѣчаютъ въ русскомъ человѣкѣ природный реализмъ, трезвость и широту взгляда, внимательнаго и вмѣстѣ осторожнаго въ отношеніи къ чужимъ мнѣніямъ и теоріямъ (Н. И. Карѣевъ — „О духѣ русской науки“). Такимъ образомъ, возраженіе, основанное на предполагаемыхъ особенностяхъ русскаго мышленія, вдвойнѣ страдаетъ шаткостью и неопредѣленностью и, поэтому, конечно, не достигаетъ своей цѣли.

Но этого мало. Мы можемъ извлечь изъ только-что приведеннаго и разобраннаго мнѣнія и нѣкоторый положительный, т. е. благоприятный для рѣшенія нашего вопроса результатъ. Въ самомъ дѣлѣ, если мы не можемъ соединить вмѣстѣ приведенныя разнорѣчивыя характеристики русскаго мышленія, — если, съ другой стороны, въ виду серьезности и компетентности лицъ, которымъ они принадлежать, нельзя думать, чтобы они были произвольными, ни на чемъ не основанными утверженіями, то ничего другого не остается, какъ признать, что они характеризуютъ русскаго человѣка въ различныхъ отношеніяхъ. И намъ кажется, что это дѣйствительно единственная точка зрѣнія, съ которой можно разобратъ въ данномъ вопросѣ и которая соответствуетъ дѣйствительному облику русскаго человѣка, какъ онъ опредѣлился въ исторіи въ лучшихъ своихъ представителяхъ, — единственно правильная перспектива на особенности русскаго склада и настроенія: равнодушный скептикъ по отношенію ко всему земному, русскій человѣкъ является безусловнымъ реалистомъ въ отношеніи къ міру потустороннему, къ дѣйствительности высшей, идеальной (Н. Я. Гротъ признаетъ въ основѣ русскаго мышленія своеобразный синтезъ реализма и идеализма, трезвости взгляда и склонности къ нѣкоторому «нравственному» мистицизму). Вслѣдствіе „многогранности“ своего мышленія и гармоничности своей души, русскій человѣкъ склоненъ переживать и брать каждое явленіе въ его идеѣ,

въ его абсолютной формѣ, стремится уловить и постигнуть во всемъ идеальный смыслъ, — въ дѣйствительности эмпирической или, какъ принято говорить, феноменальной, открыть дѣйствительность ноуменальную и т. д. Для него выше и дороже всего интересы внутренняго человѣка, какъ говорилъ покойный П. Е. Астафьевъ, — спасеніе и устроеніе души \*). Но это и есть та атмосфера, въ которой отростаютъ у человѣка „орлиныя крылья“, уносящія его, по выраженію одного изъ нашихъ современныхъ поэтовъ, „за грани тучъ, къ лазури дальней“, когда, очнувшись отъ своей дремоты, онъ оглянетъ весь этотъ „жалкій міръ безсилія“ и затоскуетъ, — затоскуетъ по мірѣ иномъ. Тогда въ немъ зарождаются и роятся глубокія и самобытныя идеи; тогда чувствуется близость расцвѣта его философіи... Мы не станемъ указывать въ современной нашей жизни признаки этой тоски и порывовъ „за грани тучъ, къ лазури дальней“: они всею извѣстны...

Итакъ, вопросъ о возможности самобытной русской философіи или, — что то же, — о философской правоспособности русскихъ мы рѣшаемъ положительно и именно въ томъ смыслѣ, что нашъ народный характеръ представляетъ благоприятную для развитія философіи почву, на которой возможный будущій философскій геній можетъ создать національную, т.-е. соответствующую глубочайшимъ духовнымъ интересамъ, стремленіямъ и чаяніямъ русскаго народа, систему. Но появится ли такой геній, — это, конечно, вопросъ другой, на который никто заранѣе отвѣтить не можетъ

На памятникахъ Персеполиса доселѣ можно видѣть одно очень оригинальное изображеніе: передъ царемъ персидскимъ стоятъ его данники, которые пришли къ нему съ поклономъ, — каждый въ своемъ національномъ костюмѣ, каждый съ своими произведениями и съ продуктами своей

\*) См. его: „Национальность и общечеловѣческія задачи“ (М. 1890) и др. статьи.

страны. Вотъ, говорятъ, наглядное изображеніе исторіи! Каждый народъ долженъ предстать на судъ исторіи съ тѣми особенностями и съ тѣми дарами, которыми его надѣлила природа. Конечно, это очень красивое и много говорящее сравненіе. Но оно не всею точно выражаетъ смыслъ историческаго процесса и „судъ исторіи“. Народы должны предстать на судъ исторіи, не только сохранивъ вѣренныя имъ таланты, но приумноживъ ихъ путемъ экономическаго и цѣлесообразнаго употребленія. Повторенія и дубликаты исторіи не нужны. Каждый народъ долженъ внести свой новый элементъ въ исторію, долженъ содѣйствовать подъему культуры на новую, высшую ступень. А для этого необходима самодѣятельность. Исторія создается не сама собою, но нашимъ свободнымъ усиліемъ. Но чтобы разумно участвовать въ ея созиданіи, для этого, кромѣ знанія самого себя, своихъ природныхъ свойствъ и дарованій, каждый народъ долженъ еще знать, что сдѣлано другими, и куда, въ какомъ направленіи долженъ онъ самъ теперь вести общее дѣло. Выяснивъ основанія для признанія возможности самобытной русской философіи, мы попытаемся теперь опредѣлить ея ближайшія задачи и направленіе, въ которомъ онѣ должны быть рѣшаемы.

Едва ли мы ошибемся, если скажемъ, что самая глубокая дума русскаго человѣка всегда сосредоточивалась на *вопросъ о жизни*, объ ея смыслѣ и цѣнности, — на проблемѣ, какъ принято нынѣ говорить, *аксіологической* или *тимологической*. Мы не знали ни этихъ терминовъ, ни другихъ сродныхъ съ ними (пессимизмъ и оптимизмъ); но насъ искони глубоко волновали связанные съ ними вопросы, и въ могучей русской душѣ совершался направленный на нихъ скрытый процессъ, готовилось такое своеобразное ихъ рѣшеніе, которое, когда оно впервые было высказано устами нашихъ великихъ народныхъ писателей (Достоевскаго и Толстого), оказалось настолько своеобразнымъ, что не только заняло почти безпредѣльно всю нашу мысль, наполнило всю нашу литературу, научную, философскую и художе-

ственную,—но отозвалось могучимъ и внятнымъ эхо даже и на Западѣ \*). Дѣлая историческую справку, для опредѣленія нашей возможной роли въ рѣшеніи этого вопроса о цѣнности жизни, мы находимъ, что русское мышленіе оказывается здѣсь самобытнымъ и оригинальнымъ въ двоякомъ отношеніи. Во-первыхъ, оно ставитъ эту проблему—такъ сказать, во главу своего философскаго міросозерцанія и хочетъ рѣшить всѣ остальные философскіе вопросы *подъ ея угломъ и съ ея точки зрѣнія*. Во-вторыхъ, и въ самомъ рѣшеніи ея оно, повидимому, проходитъ своимъ, доселѣ еще не извѣданнымъ путемъ. Всѣ мыслители, не только древняго, но и новаго міра, принимавшіеся за эту проблему, рѣшали ее или въ смыслѣ пессимизма, или въ смыслѣ оптимизма. Русскій же человѣкъ находитъ третью возможность его рѣшенія, помимо этихъ крайностей. Покорный волѣ Божіей, „благой и совершенной“, онъ терпитъ зло, но не мирится съ нимъ, не возводитъ въ принципъ и не оправдываетъ. Напротивъ, онъ энергично осуждаетъ его, постоянно съ нимъ борется и хочетъ его исправить, одушевляемый вѣрою въ оптимистическій идеалъ грядущаго царствія небеснаго. Онъ не пессимистъ и не оптимистъ, а что онъ такое,—для этого пока еще не найдено выразительнаго термина. Но онъ, конечно, будетъ найденъ. Можетъ-быть, его можно бы было назвать *меліористомъ*, — по его основной тенденціи къ *улучшенію и преобразованію* жизни. Впрочемъ, во всякомъ случаѣ, дѣло не въ терминѣ: отношеніе русскаго человѣка къ указанной проблемѣ ясно и безъ условнаго термина. И намъ кажется, что было бы благодарною задачей методически раскрыть и привести въ ясность системы то рѣшеніе этого вопроса, которое, въ формѣ смутнаго чаянія или постулата, предносится простой русской народной душѣ, — выяснитъ метафизическія предпосылки

\*) И это не смотря на то, что у графа Л. Толстого, какъ выяснила критика, національно-русскія идеи, такъ сказать, преломились чрезъ призму одностороннихъ западныхъ философскихъ доктринъ (отчасти того же пессимизма) и, слѣдовательно, являются не въ чистой формѣ.

этихъ постулатовъ и организовать ихъ въ одно связанное и законченное міросозерцаніе: это была бы цѣлая *метафизика меліоризма*.

Второй вопросъ, который тѣсно связанъ съ первымъ и потому не менѣе, если только не болѣе, волнуетъ истинно-русскіе умы, есть вопросъ о томъ, открыть ли нашъ несовершенный міръ для вліянія міра идеальнаго, дѣйствительности высшей, для воздѣйствій со стороны Божества, или нѣтъ. Русскому человѣку, при его вышеуказанномъ рѣшеніи тимологической проблемы, нужно чудо, и онъ очень занятъ вопросомъ о томъ, возможно оно или нѣтъ, такъ какъ его міровая концепція, его міросозерцаніе,—онъ ясно сознаетъ это, — должно быть образовано такъ, чтобы въ немъ оставалось мѣсто свободѣ, Провидѣнію и т. д. Дѣлая снова историческую справку о положеніи даннаго вопроса въ историко-философской литературѣ, мы находимъ два крайнихъ его рѣшенія, которыя особенно обострились въ наше время и стали другъ противъ друга, какъ двѣ взаимно исключаютелыя одна другую противоположности. Съ одной стороны, міръ понимается какъ сплошной механизмъ, причемъ, конечно, не можетъ быть и рѣчи о какихъ бы то ни было высшихъ, идеальныхъ воздѣйствіяхъ на него (это—точка зрѣнія *панфизизма*). Такъ какъ, однако, этотъ взглядъ очень безотраденъ, то чрезъ всю исторію мысли, какъ его оппозиція, проходитъ стремленіе надѣлать физическую основу міра жизнью, понять ее какъ внѣшнюю сторону, оболочку или символъ стороны внутренней. Вотъ почему атомы и вообще матерія сначала надѣляется внутреннимъ имманентнымъ ей принципомъ жизни и, такимъ образомъ, весь міръ разрѣшается въ систему *одушевленныхъ атомовъ* (гиллозоизмъ). Отсюда—шагъ дальше, и весь міръ превращается въ систему относительно самостоятельныхъ группъ актовъ или функций божественной воли, мысли и т. д. (это—точка зрѣнія *панпсихизма*, которая подчиняетъ себѣ и гиллозоизмъ, какъ доктрину недостаточно послѣдовательную). Такимъ образомъ, какъ въ первомъ случаѣ (съ точки

зрѣнія панфизизма) въ мірѣ совсѣмъ не оставалось мѣста самостоятельному психическому началу и онъ превращался въ одинъ сплошной механизмъ, такъ во второмъ случаѣ (съ точки зрѣнія панпсихизма) въ немъ не остается мѣста самостоятельному (относительно самостоятельному) физическому началу, и онъ превращается въ безплотную и безобразную систему психическихъ актовъ нѣкотораго невѣдомаго духа жизни. Между этими противоположностями средины и примиренія нѣтъ (т.-е. пока не найдено): панфизизмъ и панпсихизмъ (или, что тоже, атеизмъ и акосмизмъ), — вотъ, слѣдовательно, роковая противоположность, изъ которой доселѣ не можетъ выбиться философское мышленіе. И вотъ тутъ-то открывается широкій просторъ и возможность для русской философіи сказать свое слово. Мы не знаемъ, скажетъ ли она это слово, — разрѣшить ли только что поставленную дилемму и въ какомъ именно смыслѣ. Но, по крайней мѣрѣ, несомнѣнно, что при всѣхъ своихъ, продолжающихся и доселѣ, колебаніяхъ между глубоко противорѣчащими складу русскаго міросозерцанія крайностями панфизизма и панпсихизма, русская мысль уже со знала односторонность обоихъ этихъ типовъ рѣшенія проблемы и заявила противъ нихъ рѣзкій и хорошо мотивированный протестъ, признавъ необходимымъ удержать *дуализмъ* матеріи и духа, хотя и подчиненный, понимаемый какъ продуктъ дифференціаціи и поляризаціи *вышей Силы* \*) и потому разрѣшаемый въ *трансцендентальный монизмъ* \*\*, или *монодуализмъ* \*\*\*). Конечно, отсюда еще далеко до положительнаго и исчерпывающаго рѣшенія вопроса, но кое-что, безъ сомнѣнія, значитъ и это.

Наконецъ, третій вопросъ, который всегда волновалъ и

\*) Архіеп. Никаноръ въ своемъ капитальномъ сочин. «Позитивная философія и сверхчувственное бытіе».

\*\*\*) Въ выясненіи этого тезиса заключается существенный смыслъ продолжительной и плодотворной дѣятельности недавно скончавшагося (1891) нашего мыслителя В. Д. Кудрявцева-Платонова.

\*\*\*) См. статью Н. Я. Грога «О душѣ въ связи съ современными ученіями о силѣ», стр. 89 и слѣд.

доселѣ глубоко волнуетъ русское мышленіе, есть вопросъ о достовѣрности знанія, и въ частности о его философской компетенціи (въ связи съ вопросомъ объ отношеніи его къ вѣрѣ). Окидывая общимъ взглядомъ историческое положеніе этого вопроса, мы можемъ различить въ его постановкѣ три основные фазиса. Во-первыхъ, намъ усваивается способность познавать явленія (феномены); въ познаніи же сущности внутренней основы бытія и жизни, т.-е. въ познаніи субстанціональномъ, интуитивномъ намъ отказывается (феноменализмъ въ его различныхъ формахъ: позитивизмъ, ассоціационизмъ и т. д.). Но противъ этого рѣшенія проблемы, какъ и въ предыдущемъ случаѣ, опять-таки возвышается протестъ, — указываютъ на возможность истолковать сущность вещей субъективно, т.-е. путемъ перенесенія на нее элементовъ нашего познанія — ума, чувства, воли (идеалистическій реализмъ въ его различныхъ формахъ: панлогизмъ, пантелизмъ, панэстетизмъ). Этимъ послѣднимъ приемомъ, какъ извѣстно, главнымъ образомъ и жила доселѣ такъ называемая „метафизическая философія“, въ полной вѣрѣ въ его законность и въ свое неоспоримое право имъ пользоваться. И вдругъ теперь — третій фазисъ въ постановкѣ проблемы, — современный, особенно нѣмецкій, релятивизмъ (философія относительности) — возвышаетъ громкій протестъ противъ этого приема, какъ ничѣмъ не оправданнаго и притомъ совершенно будто бы бесполезнаго и безцѣльнаго „удвоенія метафизиками-философами своей субъективности“ \*). Вотъ въ общемъ положеніе дѣла. Предстоитъ разобратъ во всѣхъ этихъ перекрестныхъ взглядахъ. Задача нелегкая, но важная: это, такъ сказать, вопросъ о „быть или не быть“ философіи. Какъ относится къ проблемѣ русской умъ и есть ли основанія ожидать, что и здѣсь онъ пройдетъ какимъ-либо третьимъ путемъ между феноменализмомъ и индивидуально-психологическимъ, или субъективнымъ истокованіемъ дѣйствительности и, такимъ образомъ,

\*) См., напр., у проф. Дильтея (Dilthey) въ его Einleitung in die Geisteswissenschaft (Leipzig, 1893), S. 491 и слѣд.

благополучно избѣжить атаки современнаго релятивизма? По нашему мнѣнію, да: русская философія пройдетъ и здѣсь своимъ путемъ, хотя и не тѣмъ, на который, особенно въ послѣднее время, нерѣдко указывали.

Часто говорили, вслѣдъ за славянофилами, что своеобразность русской философіи состоитъ или должна состоять въ томъ, что она привлечетъ къ участию въ философской работѣ не одну теоретическую функцію нашего сознанія (разсудокъ, умъ), но вмѣстѣ и функціи практическія (чувство и волю); что ея основной принципъ—синтезъ ума, чувства и воли въ одномъ актѣ вѣры, которая и должна служить ключомъ къ разгадкѣ всѣхъ сокровенныхъ тайнъ знанія. Конечно, внесеніе въ философскія построенія элементовъ воли и чувства, противодѣйствуя интеллектуализму (которымъ, напримѣръ, страдаетъ нѣмецкая философія), тѣмъ самымъ можетъ много содѣйствовать жизненной постановкѣ ея проблемъ и полносмысленной уравниваемости ихъ рѣшенія. Но, во-первыхъ, это не было бы съ нашей стороны оригинальностью, такъ какъ призывы къ указанному синтезу въ настоящее время раздаются даже и среди нѣмецкихъ мыслителей-философовъ, не говоря уже о французахъ, философія которыхъ всегда характеризовалась практическою, нравственно-эстетическою тенденціею. Во-вторыхъ,—и это главное,—этотъ „синтезъ“ нисколько не спасалъ бы насъ отъ возраженій релятивизма: вѣдь, въ самомъ дѣлѣ, будемъ ли мы употреблять при истолкованіи вселенной одинъ какой-нибудь элементъ сознанія, одну силу духа или всѣ разомъ, пріемъ въ сущности все же останется субъективнымъ и философія не возвысится надъ „удвоеніемъ субъективности“, какъ выражаются релятивисты. Итакъ, не этимъ способомъ русская мысль можетъ проявить свою своеобразность; не на этомъ пути должна она искать выхода изъ лабиринта перепутанныхъ гносеологическихъ и методологическихъ пріемовъ. Но на какомъ же? Гдѣ слѣдуетъ искать ей „новаго“ гносеологическаго начала? По нашему мнѣнію, его слѣдуетъ искать въ томъ же самомъ принципѣ жизни, который зало-

женъ въ основѣ всего нашего религіозно-бытоваго строя, которымъ движется и создается вся наша исторія,— словомъ, въ *традиціи*, конечно, не въ узко-техническомъ смыслѣ этого слова, не въ смыслѣ внѣшне-религіознаго или бытоваго преемства идей и уклада жизни (преданія), но въ смыслѣ расширенномъ и углубленномъ,—болѣе внутреннемъ, чѣмъ внѣшнемъ,—въ каковомъ смыслѣ этотъ принципъ включаетъ въ себя всѣ не только религіозныя, историческія, народно-бытовыя, но и глубокія психологическія и даже биологическія стихіи (наприм., законъ наслѣдственности). Такъ какъ преобладающею и направляющею стихіею въ данномъ случаѣ все же остается религіозно-церковная, то быть-можетъ, вслѣдъ за нѣкоторыми нашими мыслителями\*), это начало слѣдуетъ назвать началомъ „соборности сознанія“\*\*).

Итакъ, принципъ традиціи, или соборности сознанія долженъ быть признанъ основнымъ гносеологическимъ принципомъ русской философіи. Возводя этотъ принципъ въ верховное начало знанія, русское мышленіе высказываетъ этимъ двоякое убѣжденіе,—какъ бы исповѣдуетъ два члена своего философскаго символа: во-первыхъ, признаетъ, что истина открывается не единоличнымъ усиліямъ, не индивидуальному уму, но совокупнымъ усиліямъ,—*общенію въ истинѣ вѣствъ* или, по крайней мѣрѣ, *мноихъ*; во-вторыхъ, что разумѣніе истины и самая степень разумѣнія *зависятъ отъ нашей жизни*, которою обусловлена наша взаимность, въ свою очередь условливающая возможность единой и согласной коллективной работы надъ разрѣшеніемъ единой философ-

\*) Считаемо долгомъ оговориться, что мы сами прежде видѣли всю своеобразность русской философіи именно *только* въ этомъ «синтезѣ» (см. нашъ этюдъ: «Основные гносеологическіе принципы послѣ-кантовской философіи» въ журналѣ *Вѣра и Разумъ*, 1891, т. 2, стр. 305—326).

\*\*) Съ особенною рельефностью и силою этотъ принципъ въ послѣднее время (прежде его развивали, впрочемъ, въ примѣненіи къ ученію о Церкви, главнымъ образомъ, опять-таки славянофилы) выставленъ кн. С. Трубецкимъ (см. его монографія: «О природѣ человѣческаго сознанія» — *Вопросы Филос. и Псих.*, кн. 1, 3 и слѣд.), хотя, по нашему мнѣнію, онъ безъ необходимости осложненъ здѣсь привнесеніемъ чуждыхъ ему элементовъ.



ской задачи. Если мы теперь, утвердившись на этой точкѣ зрѣнія, оглянемся на вышепоставленную гносеологическую антиномію (феноменализмъ или субъективизмъ), то замѣтимъ, что теперь мы легко можемъ возвыситься надъ нею. Въ самомъ дѣлѣ, въ отвѣтъ на возраженіе релятивистовъ теперь можно сказать, что, истолковывая вселенную въ терминахъ своей психической жизни, своего сознания, мы поступаемъ не произвольно и не безцѣльно „удвояемъ свою субъективность“, но лишь констатируемъ присутствіе въ ней подлинной жизни, которая теперь намъ открылась, благодаря расширеннымъ и углубленнымъ способамъ разумѣнія— по принципу— „подобное познается подобнымъ“: въ коллективномъ разумѣ множество точекъ зрѣнія, множество ступеней пониманія; скала, или регистръ нашей познающей способности, такъ сказать, расширяется, вслѣдствіе чего каждая форма универсальной жизни находитъ себѣ теперь, по сродству и созвучію, сродный органъ воспріятія, и органъ познанія оказывается вполне соизмѣримымъ или адекватнымъ съ познаваемою дѣйствительностью. Разъ этотъ принципъ будетъ сознанъ въ своей подлинной природѣ и въ своей истинной формѣ, въ отличіе отъ формъ несовершенныхъ и ложныхъ, въ которыхъ онъ являлся въ исторіи мысли доселѣ (традиціонализмъ французской „теологической“ школы, философія „здраваго смысла“ и пр.), онъ потребуетъ, конечно, переработки методовъ философіи, перестановки ея задачъ, ихъ состава и порядка. Но все это вопросы второстепенные, легко разрѣшимые, если твердо будетъ установлено намѣченное рѣшеніе основныхъ.

Итакъ, *меліоризмъ, трансцендентальный монизмъ и соборность сознанія*—вотъ, по нашему мнѣнію, три основныхъ идеи или тенденции, которыя заложены, конечно, лишь въ весьма смутной и неотчетливой формѣ, въ глубинѣ русской души и къ которымъ, поэтому, долженъ прислушиваться всякій мыслитель-философъ, если онъ хочетъ выдержать свой самобытно-русскій характеръ и содѣйствовать тому, чтобы и русская мысль внесла свое слово въ общеисторическій про-

цессъ развитія философіи. Такъ какъ теперь руководящею точкой зрѣнія русскаго міросозерцанія, какъ мы пытались выяснить, служить точка зрѣнія тимологическая и частіе принципъ меліоризма, то *разработка философіи съ этой точки зрѣнія* и должна быть признана нашею національно-философскою задачею,— задачею, которая для насъ поставлена и какъ бы именно намъ *оставлена* самою исторіей всемірной философіи и которая соотвѣтствуетъ особенностямъ и свойствамъ нашего національно-русскаго мышленія и настроенія. Но, конечно, для выполнения этой задачи нужны желаніе, время и трудъ. А пока все это лишь наши желанія и мечты, наши *pia desideria*...

Алексоѣ Введенскій.

1893 г. 8 октября.